Когнитивная картография народного хозяйства[1]

Константин Митрошенков

1

Книга Алексея Сафронова, рассказывающая историю советской экономики от первых послереволюционных декретов до перестройки, заканчивается политэкономическим заключением, в котором автор рассуждает о причинах неудачи советской экономической модели. Захватив власть в октябре 1917 года, большевики рассчитывали, что в скором времени революции произойдут и в других странах Европы, чей пролетариат придет на помощь своим товарищам на Востоке, что позволит преодолеть отсталость российской экономики и совершить рывок к социализму. Однако уже к началу 1920-х стало ясно, что европейская, и тем более мировая, революция откладывается на неопределенный срок, а значит, социализм в Советской России нужно будет строить своими силами. Вместо того, чтобы создавать федерацию самоуправляющихся коммун, как предполагалось изначально, большевикам пришлось сконцентрировать все «доступные ресурсы в единый “кулак” под управлением сильной государственной власти» (с. 738). Как указывает Сафронов, это тактическое решение в значительной степени предопределило всю дальнейшую историю СССР:



Константин Александрович Митрошенков (р. 1997) — аспирант Колумбийского университета.

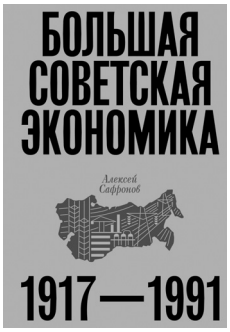
1 Ссылки на конкретные страницы этого издания даются в скобках в тексте. Я благодарю Полину Перемитину и Алешу Рогожина, чьи советы помогли мне в работе над текстом.

> «Вместо строя “цивилизованных кооператоров”, в котором государство выступает лишь как посредник для координации усилий, возник строй, где центральная власть навязывала трудовым коллективам свою волю, пользуясь отобранными у них же ресурсами» (с. 738).

Следствием этого, согласно Сафронову, стало оппортунистическое поведение трудовых коллективов:

> «[Они] старались заполучить побольше общественных ресурсов и потратить их на свое благосостояние, а не на общегосударственные задачи. […] В полном соответствии с законами диалектики сильное государство, необходимое для “доразвития” в отсталой стране предпосылок социализма, само стало тормозом для социалистических отношений, в основе которых должно лежать самоуправление трудящихся» (с. 738).

Всю историю советской экономики Сафронов предлагает рассматривать как чередование циклов централизации и децентрализации, обусловленное «попытками центральной власти перераспределить часть полномочий по управлению ресурсами на средние и низовые уровни управления» (с. 738). Такие попытки (в период НЭПа, второй пятилетки, хрущевских реформ, косыгинской реформы) неизбежно оканчивались неудачей и вызывали новые волны централизации, которые, однако, все равно не могли разрешить центрального противоречия советской экономической системы (с. 739). Движение по кругу продолжалось до перестройки, когда в силу целого ряда факторов децентрализация не была свернута на полпути, как это происходило прежде, а дошла до своего логического завершения, то есть до ликвидации советской экономической системы и самого СССР.



Большая советская экономика. 1917–1991
Алексей Сафронов
М.: Individuum, Эксмо, 2026. — 792 стр.

Так в общих чертах выглядит нарратив советской экономической истории, предложенный Сафроновым. Я не экономист и не историк экономики, поэтому не возьмусь разбирать собственно экономическую составляющую его аргументации. Вместо этого я, вслед за одним из первых рецензентов «Большой советской экономики»[2], хочу отметить, что Сафронов уделяет большое внимание культурному фактору, что не совсем типично для книг по экономической истории. Поэтому я буду говорить о том, как именно Сафронов трактует взаимоотношения между экономикой и культурой в советском контексте, и о том, на какие теоретические и историографические вопросы выводит нас его книга.

2 Ростомян Д. *Большая советская экономика Алексея Сафронова: рецензия* // Lenin Crew. 2025. 28 июля (https://lenincrew.com/big-soviet-economic-review/).

В своих заключительных политэкономических рассуждениях Сафронов пишет главным образом о неготовности советского общества к новому типу хозяйствования, основанному на самоуправлении трудящихся. Несколько страниц спустя, комментируя итоги хрущевских реформ, он называет это явление «групповым эгоизмом» и пишет:

> «Трудящиеся постоянно пробовали формулу социализма “От каждого — по способностям, каждому — по труду” на прочность, пытаясь заполучить из общественного “котла” немного больше, чем давал их собственный трудовой вклад» (с. 741).

Критики «слева» могут указать, что Сафронов гипертрофирует культурный фактор и тем самым предает основные принципы материалистического подхода к истории. На это возражение можно ответить, что Сафронов говорит о конкретной культурной ситуации позднеимперского и затем советского общества, чья неготовность к социализму была обусловлена материальной отсталостью Российской империи и СССР. Таким образом, в анализе Сафронова за экономикой сохраняется статус «конечной детерминирующей инстанции», как сказал бы Луи Альтюссер[3], а за культурой (в широком смысле слова) признается относительная автономия и способность не просто «отражать» социальную ситуацию, но и формировать ее.

Все эти рассуждения приводят нас к проблематике культурной революции[4]. Несмотря на то, что в книге Сафронова это понятие используется лишь однажды (с. 165–166), оно представляется очень важным для ее центрального аргумента о взаимосвязи между экономикой и культурой в послереволюционном обществе. Основополагающий текст о культурной революции в советском контексте — это заметка Владимира Ленина «О кооперации» (1923), в которой тот отмечает, что после октябрьской революции, когда государственная власть оказалась в руках пролетариата, а все средства производства были национализированы, для построения социалистического общества осталось только кооперировать население, то есть «заставить всех поголовно участвовать — и участвовать не

3 Альтюссер Л. *Ошибки классической экономии: набросок понятия исторического времени* // Неприкосновенный запас. 2022. № 2(142). С. 21.

4 Существует обширная традиция исследований советской культурной революции, начало которой было положено работами Шейлы Фицпатрик середины — второй половины 1970-х: Fitzpatrick S. *Cultural Revolution in Russia 1928–32* // Journal of Contemporary History. 1974. № 1. P. 33–52; Idem. *Cultural Revolution as Class War* // Idem (Ed.). *Cultural Revolution in Russia, 1928–1931*. Bloomington: Indiana University Press, 1978. P. 8–40. Обзор историографии по теме и обсуждение наиболее спорных ее аспектов (например хронологических границ культурной революции в СССР) см. в Дэвид-Фокс М. *Что такое культурная революция?* // Он же. *Пересекая границы: модерность, идеология и культура в России и Советском Союзе*. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 221–279.

пассивно, а активно в кооперативных операциях»[5]. Но, чтобы достичь этого, необходимо колоссально повысить культурный уровень населения: не только ликвидировать неграмотность, но и научить людей всему, что необходимо для полноценного участия в современной экономической жизни и, следовательно, строительства социализма. Как указывает историк Майкл Дэвид-Фокс, в первую очередь речь шла о более эффективной организации труда, пунктуальности и аккуратности[6]. Иными словами, за революцией политической, которую большевики уже осуществили, должна последовать революция в культурной сфере. «Полное кооперирование, — пишет Ленин, — невозможно без целой культурной революции»[7].

Однако Фредрик Джеймисон указывает, что отдельные компоненты теории культурной революции можно ретроспективно обнаружить и в более раннем тексте Ленина: в работе «Государство и революция» (1917)[8]. Следуя за Марксом и Энгельсом, Ленин пишет, что государство «есть орган классового господства, есть орган угнетения одного класса другим»[9]. Класс угнетателей (в данном случае буржуазия), по определению, малочисленнее класса угнетенных (пролетариата), поэтому для поддержания своей власти ему требуется государственная машина. После социалистической революции, когда власть перейдет в руки пролетариата, необходимость в государстве как инструменте принуждения какое-то время будет сохраняться, но только до того момента, пока буржуазия полностью не исчезнет. Но даже в переходный период государственная машина уже будет существовать в серьезно ограниченном виде, поскольку большинству трудящихся не нужна разветвленная институциональная система для подавления меньшинства бывших эксплуататоров. В то же время появится новое поколение, выросшее в «свободных общественных условиях, которое окажется в состоянии совершенно выкинуть вон весь этот хлам государственности» (Фридрих Энгельс):

5 Ленин В.И. *О кооперации* // Он же. *Полное собрание сочинений*. М.: Издательство политической литературы, 1964. Т. 45. С. 372.

6 Дэвид-Фокс М. *Что такое культурная революция?* С. 246. На один из курьезных, с точки зрения западноевропейского наблюдателя, аспектов этой «культурнической» работы обратил внимание Вальтер Беньямин, посещавший Москву зимой 1926–1927 годов: «Мне кажется, что такого количества часовщиков, как в Москве, нет ни в одном городе. Это тем более странно, что люди здесь не слишком ценят время. Но тому есть, видимо, исторические причины. […] (Чрезвычайно показательно, что, как рассказал мне [Бернхард] Райх, в каком-то клубе висит транспарант, на котором написано: Ленин сказал, что время — деньги. Чтобы высказать эту банальную истину, здесь требуется ссылка на высший авторитет.)» (Беньямин В. *Московский дневник*. М.: Ad Marginem, 1997. С. 70.)

7 Ленин В.И. *О кооперации*. С. 376.

8 Jameson F. *Cultural Revolution* // Idem. *Valences of the Dialectic*. London; New York: Verso, 2010. P. 269–271.

9 Ленин В.И. *Государство и революция*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1953. С. 7.

> «Когда *все* научатся управлять и будут на самом деле управлять самостоятельно общественным производством, самостоятельно осуществлять учет и контроль тунеядцев, баричей, мошенников и тому подобных “хранителей традиций капитализма” — тогда уклонение от этого всенародного учета и контроля неизбежно сделается таким неимоверно трудным, таким редчайшим исключением, будет сопровождаться, вероятно, таким быстрым и серьезным наказанием (ибо вооруженные рабочие — люди практической жизни, а не сентиментальные интеллигентики и шутить они с собой едва ли позволят), что *необходимость* соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития очень скоро станет *привычкой*»[10].

Несмотря на то, что даже в таком утопическом образе будущего все равно присутствует зловещий намек на революционное насилие, главным здесь представляется указание на важность культурной трансформации — выработки новых привычек, — которая должна последовать за захватом политической власти и переустройством экономики. Пользуясь словами Джеймисона, можно сказать, что Ленин прогнозирует «реструктуризацию коллективных идентичностей в соответствии с логикой нового способа производства». Как отмечает Джеймисон, эта реструктуризация должна происходить на двух уровнях: «создания новой культуры в узком и специализированном смысле (новой литературы, кино и так далее) и трансформации культуры повседневности в более широком смысле»[11]. В «Государстве и революции» и заметке «О кооперации» Ленин говорит именно о трансформации культуры повседневности; в начале 1920-х с легкой руки Троцкого в обиход также входит выражение «строительство нового быта»[12]. Но полностью отделить строительство новой культуры повседневности от строительства новой культуры в более «элитарном» смысле слова едва ли возможно хотя бы потому, что советские теоретики этого периода подходили к «высокой» культуре утилитарно и видели в ней главным образом инструмент для просвещения и мобилизации масс. Кроме того, как показывает марксистское литературоведение и культурные исследования, даже в тех обществах модерна, которые не так явно идеологизированы, как советское, литература и другие сферы искусства все равно участвуют в конструировании моделей поведения, соответствующих тому или иному способу производства[13].

10 Там же. С. 94.
11 Jameson F. *Cultural Revolution*. P. 267.
12 См.: Троцкий Л. *Вопросы быта: эпоха «культурничества» и ее задачи*. М.: Красная новь, 1923.
13 Jameson F. *The Political Unconscious: Narrative as a Social-Symbolic Act*. Ithaca: Cornell University Press, 1981. P. 152; Moretti F. *The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture*. London; New York: Verso, 1987.

Нагляднее всего взаимосвязь между двумя этими уровнями, или направлениями культурной революции, видна на примере литературы соцреализма[14]. Как показала Катерина Кларк, в большинстве соцреалистических романов можно обнаружить одну и ту же основополагающую фабулу: историю скромного рабочего, служащего или солдата, двигающегося от стихийности к сознательности. Стадии жизни соцреалистического героя «символически суммируют стадии исторического прогресса в соответствии с учением марксизма-ленинизма; кульминация романа ритуально воплощает кульминацию истории в момент достижения коммунизма». Кларк пишет, что в этом отношении основополагающая фабула выполняет роль ритуала, поскольку она «помогает роману обнаружить марксизм-ленинизм в истории»[15]. Чуть позже она добавляет, что соцреалистическому герою предназначено также «символизировать большевистские добродетели, вдохновлять читателей на соревнование»[16].

Даже в тех обществах модерна, которые не так явно идеологизированы, как советское, литература и другие сферы искусства все равно участвуют в конструировании моделей поведения, соответствующих тому или иному способу производства.

Мне кажется, что у основополагающей фабулы есть и еще одна важная функция, на которую имплицитно указывает анализ Кларк. Превращая историю скромного труженика в аллегорию исторического процесса, соцреалистический роман *артикулирует связь* между уровнями повседневного труда, который выполняет тот или иной конкретный работник, и социалистического/коммунистического строительства, недоступного для чувственного восприятия и существующего только в форме отвлеченного знания. Соцреалистический роман словно бы говорит своему читателю или читательнице: какой бы незначительной ни казалась твоя работа, она все

14 Соцреализм появился значительно позднее, чем Ленин и Троцкий изложили свои взгляды на культурную революцию. Но, следуя за Евгением Добренко, я исхожу из того, что соцреализм не порывал с наследием 1920-х, а синтезировал отдельные его аспекты (Добренко Е. *Формовка советского писателя: социальные и эстетические истоки советской литературной культуры*. СПб.: Академический проект, 1999). Поэтому я считаю уместным говорить о том, что литература и искусство соцреализма продолжали решать задачи культурной революции, хотя и в серьезно изменившихся условиях.

15 Кларк К. *Советский роман: история как ритуал*. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2002. С. 18.

16 Там же. С. 48.

равно важная и должна выполняться ответственно, поскольку вносит вклад в дело строительства социализма/коммунизма. Дополняя Кларк, можно сказать, что основополагающая фабула сначала помогает обнаружить марксизм-ленинизм в истории, а затем обнаружить историю в повседневности.

Интересно заметить, что у диалектики сознательности и стихийности — которая, согласно Кларк, является «структурообразующим началом основополагающей фабулы»[17] — есть аналог в нарративе Сафронова. Я имею в виду диалектику централизации/децентрализации, которая, согласно его анализу, определяла динамику советской экономической истории. В обоих случаях речь идет о попытке примирить индивидуальные интересы с общими задачами. Согласно Кларк, идеологическое значение соцреалистического романа заключается в том, что он приводит эту диалектику в действие, чтобы в конечном счете достичь синтеза и разрешить «застарелый конфликт между индивидуумом и обществом»[18]. Аналогичный синтез, согласно Сафронову, пытались найти и руководители советской экономики, то давая агентам на местах больше свободы, то возвращая полномочия центру. Но в случае с экономикой, если продолжать следовать за Сафроновым, необходимым условием такого синтеза была коренная трансформация отношения людей к труду, которая в случае успеха как раз и сняла бы противоречие между сознательностью и стихийностью, централизацией и децентрализацией, индивидуальным и общественным.

Всю эту процедуру можно описать с использованием концепции когнитивного картографирования, предложенной урбанистом Кевином Линчем и позже заимствованной Джеймисоном. Последний исходит из того, что осмысленное политическое действие невозможно без четкого представления о том, как конкретное «здесь и сейчас» индивидуума соотносится с глобальными процессами. Когнитивное картографирование призвано обеспечить «индивидуальному субъекту ситуационное представление этой более обширной и по-настоящему непредставимой реальности, каковой является ансамбль социальных структур как целое»[19]. Джеймисон подчеркивает идеологическое значение когнитивного картографирования. Вслед за Альтюссером определяя идеологию как «воображаемое представление отношения субъекта к его реальным условиям существования», он пишет:

17 Там же. С. 23.

18 Там же. С. 24. Здесь можно снова вспомнить Джеймисона и сказать, что соцреалистический роман — это идеологический акт, «функция которого состоит в изобретении воображаемых и формальных “решений” для неразрешимых общественных противоречий» (Джеймисон Ф. *Об интерпретации: литература как социально-символический акт* // Он же. *Марксизм и интерпретация культуры* / Сост. А.А. Парамонова. М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С. 38).

19 Джеймисон Ф. *Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма*. М.: Издательство Института Гайдара, 2019. С. 168.

«Каковы бы ни были ее недостатки и проблемы, позитивная концепция идеологии как функции, необходимой для любой формы социальной жизни, хороша уже тем, что подчеркивает наличие разрыва между локальным позиционированием отдельного субъекта и тотальностью классовых структур, в которых он размещен, разрыва между феноменологическим восприятием и реальностью, которая превосходит любое индивидуальное мышление или опыт, то есть разрыва, который идеология, собственно, и пытается сократить или скоординировать, нанести на карту посредством сознательных или бессознательных репрезентаций[20].

Иными словами, когнитивное картографирование определенным образом размещает индивидуума внутри не поддающейся репрезентации (в силу своей сложности и многоуровневости), но подразумеваемой социальной тотальности. Этот процесс можно описать при помощи еще одного важного для Альтюссера понятия — интерпелляции, или окликания[21]. Художественное произведение или другой культурный продукт «окликает» индивидуумов, предлагает им занять определенное место в воображаемом пространстве и тем самым превращает их в субъектов идеологии. Субъект идеологии — это тот, кто успешно «нашел» свое место на предложенной ему когнитивной карте. Если так, то мы можем охарактеризовать соцреалистический роман как особую форму когнитивного картографирования[22], выработанную послереволюционной культурой для мобилизации населения — но не просто путем внушения или демонстрации примера, а через вписывание индивидуального опыта во «всемирно-исторический» контекст[23].

Приведу литературный пример, возвращающий нас к советской экономике. У Андрея Платонова есть рассказ «Бессмертие» (1936), главный герой которого Эммануил Левин руководит станцией «Красный перегон»[24]. Левин — умелый и внимательный организатор, всячески старающийся повысить уровень сознательности своих подчиненных и эффективность их труда.

20 Там же. С. 791–792.

21 Альтюссер Л. *Идеология и идеологические аппараты государства (заметки для исследования)* // Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 50 и далее.

22 Схожим образом Эрик Найман в предисловии к сборнику статей о пространственном воображении сталинизма пишет, что «успех и выживание [советских граждан] зависели от их навыков идеологической навигации, от их способности выстраивать свой путь через мир, существующий в плоскости репрезентации и воображения, плоскости, которая оказывала своего рода бессимптомное и симптоматическое воздействие на их повседневную жизнь» (Naiman E. *Introduction* // Dobrenko E., Naiman E. (Eds.). *The Landspaces of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space*. Seattle, 2003. P. xi).

23 В этом отношении обсуждаемые мной вопросы оказываются близки проблематике школы «советской субъективности». Краткое изложение основных ее положений и их критику см. в интервью Игала Халфина и Йохана Хелльбека и других публикациях тематического блока журнала «Ab Imperio»: Могильнер М. *Интервью с Иганом Халфином и Йоханом Хелльбеком* // Ab Imperio. 2002. № 3. P. 217–260.

24 Платонова, при всей его приверженности идеям коммунизма, нельзя назвать ортодоксальным писателем-соцреалистом (существовали ли такие писатели в принципе — тоже большой вопрос). Тем не менее, в отличие от многих других произведений Платонова, рассказ «Бессмертие» был опубликован почти сразу пос-

Иными словами, провести культурную революцию на вверенной ему станции. Но у Левина есть один недостаток: он не заботится о своем здоровье, мало спит и пренебрегает едой. Однажды Левину безо всякого предупреждения звонит сам Лазарь Каганович, возглавлявший в 1935–1937 годах Народный комиссариат путей сообщения, и отчитывает начальника станции за невнимательное отношение к себе:

> «Люди ложатся спать вечером, а не утром… Слушайте, Эммануил Семенович, если вы искалечите себя в "Перегоне", я взыщу, как за порчу тысячи паровозов. Я проверю, когда вы спите, но не делайте из меня вашу няньку»[25].

Реплика Кагановича интересна как минимум по двум причинам. Во-первых, с его появлением (пускай и по телефонной связи) рассказ, до этого сохранявший внешние признаки правдоподобности, приобретает полуфантастический характер: в тексте нет никакой реалистической мотивировки, объясняющей, почему наркому вдруг пришло в голову позвонить обычному начальнику станции. Во-вторых, Каганович заботится не о самочувствии Левина как частного лица, но о его работоспособности. Он сравнивает вред, который начальник станции может нанести себе неправильным режимом дня, с поломкой паровозов: в обоих случаях речь идет о состоянии производительных сил. По сути, Каганович требует от Левина более высокого уровня сознательности и трудовой дисциплины. Ровно того же более десяти лет требовали от советских рабочих и крестьян Ленин и Троцкий в своих работах по теории и практике культурной революции. Левин должен осознать, что забота о своем здоровье — это общественно-значимое дело, поскольку от его работоспособности зависит функционирование всей станции, а значит — всей железнодорожной системы, а значит — всей советской экономики. Полуфантастический эффект, который производит звонок Кагановича, связан в первую очередь с тем, что рассказ пытается артикулировать эту сложную взаимосвязь уровней при помощи одного-единственного эпизода. Как бы то ни было, перед нами, говоря словами Джеймисона, пример когнитивного картографирования, пускай и не вполне удачного: «Красный перегон» и его начальник

ле написания, хотя и не без трудностей, и удостоился похвалы влиятельного литературного функционера Владимира Ставского (Поддубцев Р. *Борьба за Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов* // Вопросы литературы. 2015. № 5. С. 258). В любом случае, разбирая один конкретный рассказ, я не претендую на то, чтобы предложить концептуальную модель, применимую ко всем соцреалистическим текстам, а лишь намечаю возможное направление будущих исследований.

25 Платонов А. *Бессмертие* // *«Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества*. *Вып. 5*. М.: ИМЛИ РАН, 2003. С. 754; см. также анализ рассказа в: Bird R. *Articulations of (Socialist) Realism: Lukács, Platonov, Shklovsky* // e-flux journal. 2018. № 5(91) (www.e-flux.com/journal/91/199068/articulations-of-socialist-realism-luk-cs-platonov-shklovsky).

оказываются нанесены на воображаемую карту вместе с Москвой, где принимаются решения о том, в каком направлении будет развиваться советская экономика, и где работает строгий, но заботливый Каганович[26].

После долгого отступления пришло время вернуться к книге Сафронова, согласно которой одна из основных проблем советской экономической системы заключалась в следующем:

> «Количество людей, которые воспринимали единый народнохозяйственный комплекс Советского Союза действительно как единое целое, было исчезающе малым и в пределе сводилось к фигуре председателя правительства и сотрудникам сводного отдела Госплана СССР. Все остальные экономические агенты в большей или меньшей степени лоббировали преимущественное развитие "своих" отраслей, территорий и производств, воспринимая остальную экономику как ресурсное поле для своих амбиций» (с. 747).

Если рассуждать в предложенных выше терминах, то выходит, что советский проект не смог создать достаточно успешного инструмента когнитивного картографирования, который позволил бы гражданам СССР «опознать» свое место в экономической системе и осознать, каким образом происходящее на конкретных предприятиях связано с благосостоянием страны в целом. Чем сложнее становилась советская экономика и управляющие ей институты, тем острее вставала эта проблема. Поэтому намеченная еще Лениным программа

Советский проект не смог создать инструмента когнитивного картографирования, который позволил бы гражданам СССР осознать, каким образом происходящее на конкретных предприятиях связано с благосостоянием страны в целом.

культурной революции, главной целью которой была как раз выработка более ответственного отношения к труду, необходимая для построения социализма и коммунизма, в полной мере так и не была реализована. И если, вслед за Лениным, Троцким и Джеймисоном, исходить из того, что культурная

26 Об особом положении Москвы в пространственном воображении соцреализма пишет и Катерина Кларк: «Действие соцреалистических романов разворачивается обычно на периферии, поскольку она представляет собой уменьшенный микрокосм, в котором протекают те же процессы, что идут на "большой арене", именуемой собственно обществом, а также и потому, что периферия — это пространство масс. Центр же — это сакрализованное пространство, пространство великого (великих) вождя (вождей)» (Кларк К. *Соцреализм и сакрализация пространства* // *Соцреалистический канон* / Под общ. ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 125–126).

революция — необходимая составляющая любой революции, то получается, что *одной* из причин краха советской экономики (и советского социализма в целом) стала именно неспособность, нежелание или невозможность довести революцию до конца, то есть до полной «реструктуризации коллективных идентичностей в соответствии с логикой нового способа производства» (Джеймисон), выработки новых, социалистических привычек и повседневных практик (Ленин и Троцкий). Эту неудачу нельзя рассматривать в отрыве от материальных условий и того влияния, которое они оказывали на процессы в сфере культуры и идеологии. Но это уже иная проблема, требующая историко-социологической, а не культурологической оптики.

2

Еще один важный аспект, который необходимо учитывать при разговоре об экономике и воображении в советском контексте, — это наличие утопического горизонта будущего, который, по крайней мере в теории, должен был мотивировать граждан усердно трудиться ради общего блага, а не индивидуального обогащения. Такой утопический горизонт присутствует в процитированной выше работе Ленина «Государство и революция» — грядущее коммунистическое общество, успешно функционирующее без государственного аппарата принуждения. Стоит уточнить, что, называя ленинский образ «утопическим», я вовсе не пытаюсь сказать, что он относится к области фантастики; я лишь хочу подчеркнуть, что он предполагает радикальный разрыв между настоящим и будущим[27]. Ленин написал «Государство и революцию» еще до прихода большевиков к власти, а когда же это произошло, то, столкнувшись с необходимостью срочно налаживать хозяйство и вести войну на несколько фронтов, им, как показывает Сафронов и другие исследователи, напротив, пришлось усиливать государственный контроль за экономикой и другими сферами жизни общества. Неудачи революций в Европе поставили Советскую Россию, а затем и СССР в положение «осажденной крепости», что также способствовало усилению государственного аппарата, призванного бороться с реальными и мнимыми угрозами. Поэтому в 1933 году Сталину пришлось скорректировать излишне оптимистичный взгляд Ленина на государство и революцию:

27 Как пишет Ханс Гюнтер, «для утопической ментальности идеал будущего отделен от сегодняшнего дня разрывом в историческом времени» (Гюнтер Х. *Соцреализм и утопическое мышление // Соцреалистический канон*. С. 45).

> «Отмирание государства придет не через ослабление государственной власти, а через ее максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения»[28].

Отмирание государства не снималось полностью с повестки, но переносилось в неопределенное будущее. На этом основании всю дальнейшую советскую историю (и в особенности историю культуры и идеологии) часто описывают в терминах постепенного угасания и выхолащивания изначального утопического импульса. Однако процесс этот, по-видимому, был вовсе не линейным. Ирина Каспэ в книге об утопическом воображении в позднем СССР предлагает следующую периодизацию отношений советского проекта с утопией. 1920-е и начало 1930-х она называет периодом «импульсивной эсхатологии», которая «расшатывала конструкцию настоящего, побуждая поверить в то, что грандиозные изменения необратимы, реальность навсегда утратила устойчивость и нормальность и потому вполне вмещает в себя светлое будущее, оно рядом, "при дверях"»[29]. Затем с середины 1930-х по середину 1950-х, то есть в период «высокого» и «позднего» сталинизма, утопическое мышление оказывается под запретом, а образ будущего становится подчеркнуто прагматичным, «полностью исключающим модальность утопии и ориентированным на "завтрашний день"»[30]. С началом «оттепели» «коммунистическому будущему возвращается трансцендентный и утопический статус, однако он понимается и интерпретируется иначе, нежели в утопиях 1920-х, в которых столь заметна эсхатологическая аура»[31]. Во второй половине 1950-х и 1960-х эсхатологический опыт не реанимируется, а имитируется; «образ реализуемой утопии имплантируется в нормализующий и стабилизирующий дискурс государственного планирования»[32].

> «Парадоксальная модель дальнего и при этом близкого будущего, вероятно, в самом деле могла вызывать воодушевление, но эффект оказался недолговечным. Безупречный коммунистический мир сохраняет (а возможно, и упрочивает) свой трансцендентный статус — скорая встреча с будущим откладывается»[33].

28 Сталин И.В. *Итоги первой пятилетки: доклад на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.* // Он же. *Сочинения*. М.: Государственное издательство политической литературы, 1951. Т. 13. С. 161–215 (www.marxists.org/russkij/stalin/t13/t13_35.htm).

29 Каспэ И. *В союзе с утопией. Смысловые рубежи позднесоветской культуры*. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 163.

30 Там же. С. 186. О запрете утопического мышления в сталинский период пишет и Ханс Гюнтер (Гюнтер Х. *Указ. соч*.).

31 Каспэ И. *Указ. соч*. С. 187.

32 Там же. С. 190.

33 Там же. С. 205.

Как и всякая периодизация, предложенная Каспэ схема условна и наверняка может быть скорректирована или оспорена[34]. Тем не менее интересно отметить, что в своих оценках она в целом совпадает с Сафроновым, особенно применительно к послесталинскому периоду. Как напоминает Сафронов, вторая программа РСДРП (1919) ставила своей целью построение социализма. Сталин, выступая в 1936 году с докладом о проекте новой советской конституции, заявил, что «социализм в СССР "в основном" построен; несмотря на эту оговорку, вторая программа партии также считалась выполненной» (с. 407). Работа над третьей программой партии началась после войны, но была остановлена после смерти Жданова (1948) и ареста председателя Госплана Николая Вознесенского (1949). К вопросу долгосрочного планирования вернулись после прихода к власти Хрущева. В ноябре 1957 года в докладе, посвященном 40-летию революции, он обозначил некоторые цели на будущее, включающие в себя увеличение объемов производства стали, выработки электроэнергии, добычи газа, проблемой которых, по мнению Сафронова, была их приземленность:

> «В среднем объемы выпуска базовых отраслей должны были вырасти в 2–3 раза с тем, чтобы СССР через 15 лет превзошел уровень США 1957 года. Ориентиры по уровню жизни были определены в виде обещаний через 10–12 лет решить жилищную проблему и обеспечить потребность населения в обуви и тканях. […] Коммунизм представлялся как такое же общество, каким оно было в 1957 году, только более сытое, одетое и имеющее больше стали, угля и квадратных метров на человека» (с. 407).

Комментируя далее стенограмму заседания Президиума ЦК КПСС 14 декабря 1959 года, Сафронов обращает внимание на то, что предложенный Хрущевым образ коммунистического будущего серьезно отличался от того, что предлагали основоположники марксизма:

> «Многие сущностные аспекты коммунизма вроде превращения труда из обязанности в потребность, обобществления быта, преодоления различий между городом и деревней и прочего, о чем грезили классики, исчезали. Из коммунизма у Хрущева осталось только государственное обеспечение детей в школах-интернатах, обеспечение стариков "всем необходимым", а всех граждан — бесплатным

34 Например Александр Фокин, на которого Каспэ ссылается в своей книге, указывает, что примерные сроки построения коммунизма назывались и в позднесталинский период и что тогда же Сталин сформулировал «три необходимых предварительных условия для реального, а не декларативного перехода от социализма к коммунизму». Фокин далее пишет: «Несмотря на начало антисталинского дискурса, Н.С. Хрущев сохранил тезис о начавшемся постепенном переходе от социализма к коммунизму, выдвинутый еще на XVIII съезде ВКП(б)» (Фокин А.А. *«Коммунизм не за горами». Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов*. М.: Политическая энциклопедия, 2017).

общественным питанием. […] В целом переход к коммунизму должен был осуществляться через повышение доли общественного обслуживания и снижение доли общественного вознаграждения» (с. 410)[35].

Хрущевский план в пересказе Сафронова можно проанализировать с помощью категорий, используемых Фредриком Джеймисоном в книге об утопиях и научной фантастике. Джеймисон проводит различение между утопическим воображением, предлагающим масштабные проекты преобразования общества (упразднение денег или наемного труда), и утопической фантазией, генерирующей конкретное наполнение утопий (летающие машины, величественные общественные пространства и тому подобное)[36]. В джеймиосовских терминах предложенный Хрущевым образ коммунистического будущего проходит скорее по разряду утопической фантазии, чем утопического воображения: речь в первую очередь идет о конкретных и легко представимых нововведениях, а не об амбициозной программе перестройки человека и общества. Преимущество такого образа в том, что его можно без особых трудностей донести до людей. Поскольку Хрущев описывает коммунистическое общество как улучшенное настоящее, он не создает вызова для воображения советских граждан, не заставляет их помыслить радикальный разрыв с настоящим. Но в этом и слабая сторона хрущевского образа будущего, на которую Сафронов очень точно указывает: он лишен пафоса радикальной новизны, присущего «Государству и революции» Ленина и другим более ранним сочинениям марксистских теоретиков.

По сути, Хрущев предлагает советским гражданам прийти к уровню жизни наиболее развитых западных государств, но только окольным путем — не капиталистическим, а социалистическим. Дело не столько в слабости самого Хрущева как теоретика, сколько в особенностях исторической ситуации: необходимости, с одной стороны, повысить уровень жизни населения, снизившийся в результате Второй мировой войны, а с другой — увязать планы развития экономики со сталинским

35 Фокин, на чью книгу Сафронов также ссылается, несколько иначе оценивает хрущевский план. Во-первых, он указывает, что Хрущев на XXII съезде КПСС говорил не только об улучшении условий жизни советских граждан, но и о ликвидации различий между городом и деревней, физическим и умственным трудом, а также о расширении социалистической демократии и подготовки общества к «полному осуществлению принципов коммунистического самоуправления». Во-вторых, Фокин отмечает, что третья программа КПСС дополнительно дифференцировала понятие коммунизма: к 1980 году планировались построить коммунизм «в основном», заложив тем самым фундамент для строительства «полного» коммунизма. Но и Фокин со ссылкой на сына Хрущева пишет о том, что для советского лидера коммунизм означал главным образом «зажиточную жизнь» (Там же. С. 34, 36, 68–69.)

36 Jameson F. *Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions*. London; New York: Verso, 2005. P. 44.

тезисом о «в основном» построенном социализме и представлением о том, что следующим после этого шагом должно быть строительство коммунизма. При этом даже такой приземленный план, указывает Сафронов, был сильно оторван от реальности:

> «В экономических расчетах к третьей программе КПСС… не нашлось… пояснений, какие конкретно мероприятия в области технического прогресса обеспечат такой темп роста промышленности и сельского хозяйства, чтобы все запроектированное стало явью» (с. 415).

Сафронов считает, что расчеты представляли собой «простое математическое упражнение: с каким темпом надо расти, чтобы в требуемые сроки достигнуть нужного уровня» (с. 416). Точно так же, как и Сталин, Хрущев не хотел слушать доводы экономистов. Но, в отличие от Сталина, он не был готов к колоссальной мобилизации общества для достижения поставленных целей, подобной той, что происходила в первые сталинские пятилетки (с. 416). В итоге третья программа КПСС, с одной стороны, поставила построение коммунизма как практическую задачу, требующую решения, а с другой — не смогла предложить адекватного ей плана работы. Двадцать лет спустя неоправданный оптимизм хрущевского времени обернулся разочарованием:

> «Когда к 1980 году коммунизм не настал, люди предсказуемо обвинили в этом не самих себя, а государство, которое все никак не хотело отмирать и заменяться коммунистическом самоуправлением. Еще одну проблему я вижу в том, что само понятие коммунизма из общества, где созданы наилучшие условия для полноценного развития каждой личности, отчасти превращалось в набор потребительских характеристик. При всей важности бесплатных обедов и бесплатного проезда они, на мой взгляд, не являются полноценной заменой мечты о равенства и братстве всех людей на Земле» (с. 416–417).

Сафронов проговаривает здесь сразу несколько важных мыслей, на которых стоит остановиться подробнее. С одной стороны, он говорит о неспособности советского руководства реализовать третью программу КПСС и построить то, что сам автор чуть ранее называет «самым социальным государством в мире» (с. 412). С другой стороны, он указывает на выхолащивание утопического импульса и постепенное изменение представления о коммунизме.

Как же связаны эти две проблемы? Если следовать логике Сафронова, то выходит, что отчасти именно исчезновение коммунизма как утопического горизонта сыграло свою роль в том, что советские граждане оказались неспособны на новую

трудовую мобилизацию. Сравнивая положение дел в начале 1930-х с хрущевскими временами, Сафронов пишет: «Тогда… партия… поднимала миллионы людей на трудовые подвиги. Теперь обещания всего бесплатного, наоборот, склоняли людей сидеть и ждать даров» (с. 416)[37]. Именно неспособность на мобилизацию в совокупности с другими факторами привела, согласно Сафронову, к тому, что даже приземленный план, предполагавшийся третьей программой КПСС, не был осуществлен.

Мы приходим к сложной взаимосвязи между утопическим горизонтом, социальной мобилизацией и конкретными материальными условиями. Утопический горизонт необходим для социальной мобилизации, которая в свою очередь необходима для достижения поставленных целей и в том числе — повышения уровня жизни людей. Наличие этих улучшений в свою очередь необходимо для того, чтобы коммунизм сохранял привлекательность в качестве горизонта будущего, а настоящее продолжало восприниматься как путь, медленно, но верно ведущий к намеченной цели[38].

Все это возвращает нас к диалектике централизации и децентрализации, занимающей столь важное место в аргументации Сафронова. Согласно его книге, на протяжении всей советской истории руководство страны пыталось найти идеальный баланс между индивидуальными интересами отдельных агентов и задачами, стоящими перед всей экономикой. Нужно было сделать так, чтобы эти агенты работали максимально эффективно и были лично заинтересованы в результатах своего труда, но при этом не допустить ситуации, при которой интересы индивидуумов и групп начинают противоречить интересам народного хозяйства.

Обретение такого баланса требует изобретения особых форм когнитивного картографирования, которые в свою очередь должны конструировать социалистических субъектов, осознающих свое место в экономической системе. Но, помимо когнитивного картографирования, такому проекту требуется что-то вроде инструмента когнитивной периодизации, указывающего индивидууму на его или ее положение на воображаемой прямой времени. Наличие утопического горизонта позволяет создать настоящее, заряженное предвосхищением будущего. Субъекту, обнаружившему себя в таком настоящем,

37 Насколько реалистично было бы ожидать такой мобилизации — с учетом изменения структуры общества и повышения в нем доли городских жителей с высшим образованием, — отдельный важный вопрос.

38 Ср.: «Бытовые условия, в совокупности с питанием и потреблением, воспринимались населением как индикатор продвижения к намеченной цели. Поскольку никто не мог увидеть миллионов тонн выплавленной стали или миллиардов киловатт электроэнергии, гораздо ближе для простого человека была позиция “чем лучше быт, тем ближе коммунизм”» (Фокин А.А. *Указ. соч*. С. 56).

предлагается рассматривать свой труд не как способ личного обогащения, а как вклад в строительство мира, в котором не будет места эксплуатации и нужде.

В теории, это должно снять противоречие между личными и коллективными интересами, а значит, решить и проблему централизации и децентрализации. Если все или почти все работники осознают, что их труд приближает лучшее будущее, то у них (опять же — в теории) пропадает желание уклоняться от выполнения своих обязанностей, работать спустя рукава или обманывать начальство. А раз так, то и потребность в строгом контроле за качеством труда отпадает и мы оказываемся в ситуации, когда «*необходимость* соблюдать несложные, основные правила всякого человеческого общежития […] станет *привычкой*» (Ленин).

Проблема в том, что такая темпоральная организация внутренне нестабильна. Если общество исчерпало все ресурсы, а обещанное будущее так и не наступило, то велик риск разочарования и апатии. Попытки же приблизить утопическое будущее через переопределение коммунизма в терминах товарного изобилия и повседневного комфорта приводит к постепенному отмиранию самого утопического импульса, столь важного для всей общественно-экономической системы. Поддержание же мобилизации преимущественно насильственными методами может быть эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе, как показал опыт сталинизма, приводит общество и экономику к глубокому кризису.

В конечном счете, как показывает Сафронов, в этой общественно-экономической системе разочаровались даже советские экономисты. В 1980-е они почти единогласно говорили о необходимости демонтажа плановой экономики и переходе к «полному хозрасчету», то есть к «экономической независимости производителей и, по сути, к рыночным отношениям между ними и госбюджетом» (с. 670). Далеко не все они были сторонниками реставрации капитализма, но опыт советской экономики превратил их в «стихийных рыночников». Кроме перехода к рынку, «они не видели другого способа придать экономической системе гибкость и при этом обуздать групповой эгоизм предприятий» (с. 670). Речь, по сути, снова шла о проблеме воображения: неспособности представить себе такой сценарий, при котором экономику можно было бы сделать более эффективной, не отказываясь от самого принципа плановости. Конечно, эта проблема возникла не сама по себе, а стала результатом того кризиса, в котором страна оказалась к 1980-м. В итоге те, кто по долгу службы должен был поддерживать и развивать большую советскую экономику, приступили к ее демонтажу.